

# 1. Пальто для Валентины

Перед ноябрьскими праздниками, как тому случиться, Пётр засобирался в тайгу. Сборы эти осуществлялись не за день, не за два, а грезилось Петру таёжное житьё-уединение от промысла до промысла. И загодя, ещё зрелым летом, Пётр выговаривал у директора совхоза для себя отпуск на эту пору, и припасы закупал в Абане, в охотничьем магазине, допрежь этих дней.

Проснувшись до свету за окном, Пётр радовался выпавшему отпуску и предстоящей охоте. Вчера поздним вечером скотники отделения вернулись с молодняком с летних таёжных гуртов, где с самой весны он работал пастухом.

Пробудившись, Пётр лежал без движения. Но руки, привычные в такое время к труду, запросили дела, и их слегка начало покручивать в мышцах. И, подчиняясь этому зуду, Пётр взломил плечами, хрустнул телом, зашевелился.

— Пётр Василич,— Валентина почуяла его пробуждение, негромко позвала из прихожей.— Слышь, отец?

Пётр не отозвался. Разомлело лежал, отдыхая душой и телом. В жарко топленной избе настойчиво держался дух стряпни. Светлый морок горницы настолько загустел этим запахом, что хоть бери его в пригоршню и выжимай, а выжмешь — ешь горячий со спелым нутром аржанец. Вчера наломался в верховой езде, нагибаясь в седле, увёртываясь от хлёстких сучьев и лапин,

гоняясь на жеребце по березняку за блудливыми тёлками. И сейчас, в преддверии длительного отдыха, душа праздно примеривалась к его мыслям. Виделась уже и старинная прадедовская баня на Павловском ключе, слышался скрип влажного снежка под валенками. Снега ещё нет. По чернотропу белку брать рано.

— Петя! Пётр Васильевич... — Валентина заглянула в проран жёлтых штор. — Ты не спишь?! — тронула небритые его щёки.

Вчера припозднился, бриться не стал, отложил и баню на сегодня. Руки Валентины пахли житом, сдобой. Пётр попридержал дыхание.

До прихода к нему Валентина неслышно и плавно управлялась по дому с раннего часа. Пробудившись, Пётр видел, как в прихожей жена легко и сильно орудует осиновою лопатой, вынимая из глубины русской печи жестяные формы с готовым хлебом. Мельтешит из кухни в прихожую к столу, застеленному толстым белым рядом, прикрывает широким краем этого ряда спелый хлеб. Валентина — единственная из деревенских баб, кто печёт хлеб на дому. И поставу затевает всегда докучную. И тетешкает её потом, и возится с тестом с трёх часов ночи, будто с дитём малым и капризным. Выпечет хлебов всегда вдосталь: и себе, и учителькам даст, и медсестре. Брат её, Володя Зеленек, в Зимнике живёт, тоже каждый раз за хлебом на «Жигулях» приезжает. Сегодня жена пекла и сдобу к праздникам, и её унюшливый аромат ванили тоже сочился из кухни в горницу и особенно остро исходил сейчас от рук.

— Чо хотела? — выдохнул он.

— Слышь, Петр мой Василич, чего скажу. Вечор уж не стала тебя расстраивать. Васька-то наш точно сдурел. Увёл у Симоновича, батьки твоего, дочку. В Абане она у него щас. Учёбу бросила. Батька твой грома мечет. Грозится рёбра нашему Ваське переломать.

— Я переломаяю... — Пётр не поверил в сказанное. Приподнялся на локтях. — А ты куда смотрела? Красиво получается.

Дальше он не продолжил. Но Валя поняла, о чём он. А получалось не совсем ладно. Симонович Петру родной отец. Теперь выходило, что сын Валентины, которого Пётр вырастил, женится на его, Петра, единокровной сестре по отцу. Поздняя дочь Симоновича — ровесница ихнему Ваське. Учится в библиотечном в Канске. Приезжала летом на каникулы. Васька из Абана дома гостил. Вот и окрутил их чёрт в клубе. Не Бог же? Ему такие дела не угодны. Когда успели-снюхались — о

том Валентина не ведала. А сын её, когда она узнала и стала молить его не делать беду — Пётр Васильевич осерчает, сболтнул: «Захочу, Симонович сам мне её на саночках привезёт!» Так всё случилось. Вот стервец...

От торопкого шепотка Валентины за досчатой крашеной перегородкой в спальне за печкой разомлела, захныкала Маринка, спавшая с восьмидесятилетней Матрёной.

— Тише. Дом весь побудила, — утомил он жену.

— Ну ба-а-а, не тавкайси! Вот как дам щас... Папка приехал?

— Спи, моя доня. Спи. Рано ешо. Приехав твой папка. Приехав. Зорюет пока. Успеешь увидеть свою папку. Дома та-перича будет.

Матрёна, мать Валентины, белоруска. «Колесни». И Валентину Тимофеевну Зеленкову до замужества звали не иначе как Валя Колесень. Звал её так и Пётр.

— Ага, мамка гутарила, что папка на охоту собравси. Байкал вечер вон как бесився...

— Спи, спи, спи...

Перебранка старой и малой за стенкой, дочкина забота о нём и поступок сына, мысли о прошлом и жизнь в настоящем — всё это перемешалось в Петре, спуталось в досадную тревогу. Вроде бы и радоваться надо, но опять пересекались пути не по-людски. Жизнь шла будто по замкнутому кругу, из которого никогда не вырваться.

Оконца горницы заголубели ясным утром, а Пётр всё лежал в прежней позе — ладонями под затылок. И нежданно-негаданно вспомнил всю свою жизнь. Уже и Маринка на-скакалась, налестилась к Петру и ушлындала на улку, и бабка Матрёна замозолила глаза своим хождением туда-сюда, а он будто онемел, и всё тут. Онемеешь. Когда всё так.

В сорок восьмом Володька Шелях — младший брат Евдокии — привёл Валю Зеленюк в дом отца. Дом о две половины, и без того тесный семейству Василия Павловича, с прибытком невестки и вовсе стал походить на муравейник. Спали и на полу под шубами, и на горячей печи вповалку. Тесно. На почетском тракте Василий Павлович Шелях слыл знахарем. Ехали больные отовсюду, всех он принимал. Домашние жили впроголодь. Петру восьмой год. Невестка Колесень оказалась работающей и покладистой. Свекровь полюбила Валю. Полюбил всем сердцем Валентину и семилетний Пётр. Валентине известен голод не понаслышке. Отец её, Тимофей Зеленюк, в тридцать

третьем с голоду умер. Пётр был крепким подростком. Валя его подкармливала тайно от свекрови. Мял всё подряд. За доброту он и полюбил Валу Колесень. Никто этого не знал. А он любил её сорок лет. Живут теперь семьёй. Не мечталось в подростках. Валя Колесень на одиннадцать лет старше его.

Дедовская знахарская дурь передалась Ваське. Открыто парень не лечит, но несут младенцев. Пощупает, пошепчет — и помогает от сглаза, выправляются дети. «Захочу, Симонович на саночках привезёт»... Замыслил Васька девку-то.

Володька Шелях с Валею Колесень решили строиться. Дитя родили, третий год девочке. Свёкор сердится, сына Володьку со свету сживает: лес на дом заготовлен.

Поставили избу рядом с усадьбой отца. Огороды общие, пахать удобней. Табором сажать и выкапывать картошку сподручней. По старинке, ладком да рядком.

Припоминая тот летний день из далёкой теперь дали, у Петра всегда приостанавливалось сердце, прерывалось дыхание: убил дочку Вали Колесень дед Шелях. Случайно. Выкинул в злобе за волосики в открытое окно двухлетнего ребёнка. Скорняжил во времянке. Колесень с маткой картошку пропалывала. Внучку смотреть доверили деду. Иглу большую уронила внучка в щель пола. Озверел Шелях, повредил шейные позвонки ребёнку. Не желал этого, но дурак дураком становился в гневе. Контузия в голову на фронте. Лучше бы он не возвращался таким. Так бы и хранили добрую память.

— Батька, ты — Берия! — кинулся Володька на отца. — Берия — враг народа! А ты — враг своим детям! — ударил отца увесистым дручком.

Шелях за топор — да на сына:

— Каво-о?! Меня?! Кровь мать!..

В доме хлопнула дверь. Пётр встрепенулся, смахнул дремотные мысли. С улицы вернулась Маринка.

— Папка, встав? — шумно стягивала пальтишко у порога дочь, одновременно стряхивая с ног валенки.

Один катанок полетел под стол, другой угодил за шторку на кухню. Маринка росла шалой девочкой. Мальчишкой бы ей родиться. Валентина без его, отцовского надзора — он вечно в работе — запестовала дочку. И была она беспокойной и своенравной, капризной и признавала только волю Петра. Будто чувствовал ребёнок, что будущее за отцом, хоть и не понимала мамкиных годов. А случись что с Валентиной... Ох и долго же

ещё нужна Маринке мамка. Валентина полвека уже отмерила. Колесень за обувку сердилась. Девочка, наоборот, нарочно расшвыривала катанки по прихожей.

— Вот я-то пожалуйсь отцу. Уж он-то тебе задасть, раз ты мамку не слушаешь. Вот уж задасть...

— И не задасть, не задасть. Папка мой любимый,— шумела уже Маринка в горницу Петру.

Он не единожды при таких разговорах жены и дочери улавливал в себе смутное определение в отношениях двух родных существ. Будто бы всё и ладом, и втемеже нет-нет да и проскальзывала мысль, что Валентина, мать ребёнка, вовсе будто бы и не мать ей — так поздно, в сорок семь лет, родила. Будто нет в Валентине той пристрастной материнской заботы о дите, а есть какая-то большая, неизбывная боль, рождённая чувством временности и скорого конца.

— Папка мой любимый. Возьмёшь меня в тайгу?.. Я тебе буду шчи варить. Ноги, как мамка, мыть...

От дочери веяло улицей, снегом, жизнью. Значит, ночью, пока он спал, выпал снег. И ведь запомнила, пичуга. Случилось раз такое. Радикулит согнул. Валя Колесень и помыла ему ноги после сырых грязных сапог.

— В тайгу? А мамку слушать будешь?

Маринку дети любили страстно. Все уже взрослые, и пятилетняя сестра их забавляла до умиления. Любили Володькины дети и брата Петра. Отца своего — Петра Васильевича. Но чувствовалась за всем этим какая-то недосказанность, путаница в понятиях и... неловкость. Иногда Петру казалось, что не стань вдруг Валентины — всё потеряет смысл, кончится и его жизнь. Дочь? Она из другого времени. Сейчас она как бы временно с ними, но не успеешь оглянуться — и нет её уже рядом. Как это случилось с Валиными детьми. Давно ли они все под стол пешком ходили?..

— Марья, ходи сюда,— позвала Валентина. — Дай отцу подняться. Он и так у нас сёдня навроде именинника, загостился в постели. Марина?! — зашла она в горницу. — Чой-то ты и взаправду, Пётр Василич, сёдня какой-то не тот. Васька расстроил?

— Ты, Тимофеевна, побудь рядом,— попросил он жену. — Грудь чой-то теснит. В пацанах себя вспомнил. Как подкармливала ты меня, голодного... Устал я. Всю жизнь работаешь, а что толку? У тебя вон даже и пальто доброго нет. Сколько лет уже в этом своём, затёрханном, зелёном. Будто и не работаю, денег у нас нет на пальто.

— Так дети же...

— Дети...

Валентина всегда уважит Петра. Хоть потоп, прав он или не прав. Уважит — хозяин! И сейчас она затихла рядом по его просьбе, и дел по хозяйству много. И Пётр это знает.

— Ай и вправду тебе для мене пальто новое хочется, хозяин мой?

— Вправду...

А хозяин Пётр и верно добрый. Пятерых детей считай что от соплей поднял. Старшему Владимиру и дочери Надежде с зятем в Абане дом каждому поставил. Денег на мебель дал. И больно вчера Петру стало, когда Валентина встретила его у калитки под уличным фонарём в вытертом до ниток шерстяном пальто и калошах на тапочки, в чесучовых штанах, пододетых под Матрёнину панёву, в рваном сыновьем свитере, с тугим узлом волос на затылке.

— Ай и вправду тебе сильно хочется для меня купить новое пальто? — глаза Валентины молодо и счастливо светились от одного только его желания купить ей это пальто.

— Хочется,— подтвердил Пётр ещё раз.

— Табя тут не было,— вспомнила Валентина и рассмеялась.— Сеня Печенок заходил. Сваталси. Говорит, выходи, Валя, за мене замуж. Я тебе чулки куплю.

— Ну и шо ж ты растерялась? Сейчас бы в новых чулках корову доила.

В светлой избе хлебно и тихо. На душе у Валентины покойно и хорошо. Она счастлива. Она всегда умеет счастливой быть. Умела этим счастьем оделить и его, Петра, как сейчас.

— Баня, хозяин мой, настоялась уже. В поре. С трёх часов каменку жгу. Уголья выгребла, стены помыла, водой обдала. Заслонки задвинула и дверь подпёрла, чтобы не вытягивался жар. Вставай с постельки-то...

## 2. Люди добрые

По пояс голый и белотелый, босиком по крашеному полу Пётр прошёл в прихожую, перебирая пятернёй кудлатую после подушек голову. Высок ростом, строен и молод. Валентина залюбовалась сорокалетним мужем, заспешила посмотреть в печи сдобы. Пётр сунул ноги в калоши, накинул на голые плечи телогрейку, подался на двор.

С поветей крытого летника вспорхнули голуби... Тёмные высокие скворечни под голбцами шалашиком вдругорядь за ночь нарядились пуховичками снега. Снег прибрал всюду: на дворе, на краснотале в палисаде, накрыл картофельную ботву в огороде, шапкой напух на поленнице вдоль заплота. Лёг коренной, самая пора белковать. Пётр постоял на высоком крылечке, втиснулся глубже в телогрейку, пошёл к собаке. Лайка пепельной масти, Байкал, повизгивая и подрагивая, возя задом от нетерпения, поджидала хозяина у бани возле будки. Загавкал кобель громко, утробно при его приближении, запрыгал-затанцевал на задних лапах, вытягивая цепь, просясь передними Петру на грудь. Лай собаки почудился особенно гулким в этой прибранной тишине. И недалёкие высокие стожарные пихты за огородиком прикрыли своими развесистыми в снеговой кухне лапниками этот лай.

— Цыть, ты, дурак те скудахтал,— всё же довольный радостью собаки к себе, негромко обронил Пётр.— Благодать-то какая, а ты её рушишь.

Кобель присмирел.

Оконце бани запотело, заплакало слезой. Духовито, перешибая все дворовые запахи, из предбанника несло пареной берёзой. Ах, как хорошо жить! Ну до чего же хорошо!

Пётр заскрипел снегом к хлеву, заглянул в загон. Тёлка, уткнувшись в шею коровы, шумно вдыхала материнское тепло, отдыхая после утреннего едова. Отхлопав, отбившись в небе, вернулись, сели и успокоились, воркуя в подкрышной темени, голуби. Пётр подумал, что хлев бы надо очистить от навоза и топтунца. Топтунец ещё пойдёт на подстилку свиным. Дворовая справа в порядке, не ломана, не завалена, сеновал — битком. Зиму встречают по-хозяйски, хоть и провёл он лето в гуртах. Подумал о сынах с благодарностью. В сенокос отработали, сено вовремя до двора вывезли, картошку матери выкопали. Не сегодня-завтра и сами объявятся из Абана. Знают, что батька приедет. Кабана колоть надо. Тёлку уже после Нового года сдаст на мясо. Дороже выйдет. Ровно и покойно думалось Петру после утренних сомнений. Показалось — увеличил. Надумал Васька жениться? Значит, время пришло. И не Петру ему жену выбирать. Доволен Пётр жизнью. Всего душе угодно: и достатка в доме, и уважения от Валиных детей.

Любил Пётр Тимофеевну свою всю жизнь сердцем, жалел Валу умом. Дети Василя Шеляга дураковатые ребята росли, без ума. Таким же был и Володька. Валу в дом привёл. Будто потеху, а

не хозяйку завёл. Ночью тешится, парни не спят, по очереди под кровать слушать ползают. Может, с тех лет Пётр дядьёв своих и недолюбливал. А тогда, в пацанах, потянулся он к Вале, как к сестрице родной. И думать не смел, что когда-то Валентина его женой станет... Босые ноги простыли в калошах. Из кухонного окна во двор на него смотрела улыбчивая его Валя Колесень. Ждала хозяина в дом, не тревожила его неторопкого осмотра хозяйства.

Со стола хлеба убрали. Матрёна и Маринка полдничают. Последние годы старуха ест мало. Больше простоквашу с хлебными катышами употребляет. И сейчас она щипала тонкими, похожими на тёмные восковые свечки пальцами мякиш из разделённой горячей буханки, медленно катала в сухих ладонях и запивала кислым молоком.

— Помошница моя,— бубнит Матрёна, одобряя Маринку.— Ты мельча-то их катай.

— Ты мене с пензии зелёньку дашь? А то катать не стану...

— Три рубли-то? Дам, тебе дам. Куды мне их? Туды их не заберёшь.

Старуха который год уже собирается «туды». Но травы пьёт, настои, лечится. А нести ей «туды» нечего: за сорок лет в колхозе-совхозе — двенадцать рублей пенсии.

— Бабань, ты жить устала? Ты же совсем старая,— Маринка прекращает катание, ждёт, приоткрыв от любопытства рот.

— Устала, моя доня, устала. Но жить хоца.

Старуха вытирает подолом панёвы впавший сухой рот, грузно поднимается, опершись всем телом на заласканную до орехового цвета клюку.

— Садись, Василич, завтрекай,— предлагает она Петру.

— Опося. В баню сперва наведаюсь...

Любил баню Пётр истово, мог по три раза на неделе париться, морсу поглотать. Парился он не шибко, но сыны с ним не соперничали — на пол садились. Сегодня, ещё при звёздах, Колесень выскребла и вымыла баню, воды вдоволь нагрела в котле, каменку берёзой нажарила. В тазу на полкё два веника запаренных ждут, в предбаннике на крытом половиком коннике чайник с брусничным морсом — всё в своей чередё, как он любит. Пётр знал и вопросов не задавал. Летние работы по хозяйству закончились. И неудивительно, что хозяин не хватался, приехав, то за одно, то за другое. Что сам не успевал, сыны помогали. И ушёл бы Пётр в баню, как и прежде, один, и Валя бы позже подошла, спину потёрла бы, не загреди на веранде



по простывшим половицам костной кирзой сапог — не ранний и не поздний гость в такой час утра. Пётр посторонился от двери, подминая скаток белья под мышку, глянул на Валентину. Та пожала плечами. В их дом в Егоровке, отмежёванный пустующей усадьбой старика Жерносека, редко последние годы заглядывали посторонние. Разве что бригадир скотников с коня потянется через палисад кнутом к окну да упредит по надобности, или училка за хлебом зайдёт, медсестра иногда.

— Здравствуйте, люди хорошие, — хмельненький, маленький росточком, но широкий в плечах от самого пояса, Сеня Печенок остановился у порога.

В любом жилом месте сыщется горемычный человек; в Зимнике за такого жил Сеня Печенок. Жил сызмальства недоумкой, с песней на устах, которой неизвестно где и когда научился. Кормил он себя и свою старую мать сам. Ещё жив был Володька Шелях, полюбилось Семёну мукомольное дело. Обучился ему на мельнице у Володьки. Так и остался Семён за мельницей после гибели Володьки. За эту мельницу Печенка редко кто от двора поворачивал. Делились мясом, картошкой, молоком для его матери, деньгами и самогонкой. И стоял сейчас Семён, побеленный мучной пылью, будто пришедший из другой жизни, из той, далёкой, послевоенной, полуоборванный и полураздетый. И грешно было так думать Петру, и жалко человека, что даже засобирался уйти, куда шёл, — в баню. Семён до Вали Колесень пришёл.

— Тимофевна, сестрёнка, дай стакан самогонки. Ведь по-мру же, — испросил он, пыля белёсыми щетинками ресниц.

Баб деревенских Семен не боялся и не стеснялся, так как любая из женщин принималась им иль сестрёнкой, или «маткой», и нередко он так и звал своих сподружениц, с кем имел дело, помогая колоть дрова. Мужики имели привычку скалиться, обижать неразумного человека. И с «браткой» он обращался редко.

— Жаних пришёл! Проходи, проходи, жанишок! — Валентину всегда оживляло присутствие детей, добрых людей, никого и никогда она не обидит, не унизит, постарается подравняться под человека, поучаствовать.

И Петру как-то не представлялось: Колесень и Сеня Печенок, обещающий чулки при сватовстве, — муж и жена?

— Я тут, братка, Пётр Сылыч, жану твою сватал, пока ты в гуртах скот пастил. Чшулки ей обещал. Не хотить за мене идти. Мне, говорит, Сылыч всех дороже.

— Не бреши, ботало. Так уж и сказывала,— встряла сидевшая тут же Матрёна.— Хошь бы к празднику прибрався. Ходишь лешаком, детей пужашь.

Марина спряталась за бабу. Вид у Сеньки действительно... Непомерно большие, загнутые носками, закочуренные мучной пылью кирзачи, на ширинке до самой мотни пуговиц нет, старый шерстяной костюм до того выбелел и местами потрескался, что походил больше на плеву кислого засохшего теста, чем на ткань, которая зовётся одеждой. Опять же эта кепчонка в кулаке, чуб как кабанья щетинка, глаза, вдавленные к затылку, маленькие и неразумные. Тут уж и Матрёне перечить нечем.

— Дай, мать, если есть,— раздумал уходить Пётр, сам присел на длинную лавку, что у порожней стены, Семёна пригласил.

Валя ушла на кухню, порылась в столе. Вернулась с неполным стаканом самогонки, с краюхой утрешнего хлеба, по верх которой отстружила добрую полоску сала. Сало взяло тепло из хлеба, запрозрачилось.

— На, миленькай жанишок! Шо ж таперь, жалко этого добра? Не умирай токо, жави долго.

— Ох ты, горе горькое...— забубнила Матрёна.— И чи жись-та с людьми вытварят...

— А ты чо ж, это самое, без телогрейки-то ходишь? — Колесень приняла стакан и отступила от Семёна к столу.— Али потерял, иль пожёг?

— Вчоры дровы помогал Саре резать. Мужики там с бензопилой. Ну, так и я напивси. Потеряв иде-то. И шапку тожа.

Сарой на деревне звали Шуру-бобылку. Тоже горемычная, не лучше Семёна, одинокая, выпивоха. Сыночка, однако, с кем-то умудрилась прижить, растила. Гнала самогонку. Мужики часто от баб у ней пропадали. Бабы грозились спалить «Сарин вертеп». По этой причине Шуре тяжело жилось — от деревенских баб помощи не дождёшься. А мужикам, известно... Валентина тоже осуждала Сару, но зла на неё за Петра не держала. И Володька, царствие ему небесное, мимо Сары не прошёл.

— Сынка у Сары, яму шапку отдал,— вспомнил Семён.— Мужаки-то все под юбку, кавда выпили. А сынка её видит. Шапки нет — на улку убёгнуть. Отдал яму...

— Ах ты Боже! Ты мой Боже! — Матрёна заутирала щепотью рот.— Ах, люди... Убогих обижать?..

Пётр слушал речи Семёна хмуро. Пил у Сары и он. И не один, и не два раза. Сара пыталась даже своего пацана Витьку к

нему привязать, будто отец он. А подрост Витька — увидели, кто отец: вылитый лицом — Мишка Бычков, сосед через дорогу. Еле отвязался тогда от Сары. С Валею ещё ничего не решено было...

— Тимофеевна, там в кладовке шапка моя, в которой я пастил, фуфайка ешо добрая. Отдай человеку...

— Отдам, Пётр Василич,— согласилась Валя.— И катанки старые мамины отдам. Мать-то твоя как? Сёмушка — горюшко ты наше...

— А што мать? Ляжить. Умирать собралась посля праздников. Жалко, конечно. Но рази это жисть?

— Ну так я пошёл,— поднялся Пётр.— Погреюсь.

Прежде чем идти до бани, Пётр вышел за ворота, будто кого-то ждал. Чувство такое.

От ворот виден хорошо взволк до Зимника. Тепло в воздухе, сыро. Метель будет, решил Пётр. Снег на тракте растаял, и оттого сырая дорога виделась сейчас среди таёжной просеки будто залитой кровью среди белого великолетия. Тракт отсыпают ежегодно дорожники дробленным на карьере красноватым пережжённым известняком, геологам известным как «аргиллиты». В дожди полотно тракта пльвёт, лесовозы разбивают колею так, что на мосты садятся. Как дойдёт пьяненький Печенок в своих дырявых кирзачах? Надо бы хоть ему резиновые старые дать. С тем намерением он и вернулся в избу, прихватив резиновые сапоги в кладовке.

— Обувайся,— бросил сидевшему на лавке Семёну.

Похмелившись, убогий человек совсем осоловел. Валентина собрала Семёну сумку для матери, поклада свежего хлеба пару булок, сала ломоть. Больше и дать нечего.

— Теперь всё. Пошёл,— коротко подтвердил своё намерение Пётр идти на жаркий полк.

Без него разберутся теперь.

### 3. Валентина

Упарился на этот раз Пётр на удивление быстро. Отдыхал же в предбаннике, как всегда. Изредка глотал, задрав чайник, настывший брусничный морс, отирал с лица ручьевою пот простынёю. Всё было на своём кругу, но удовлетворения от бани нет. Дверь приоткрыта. Баня выстудилась, пока он сидел. За Петром собиралась Валя с матерью и Маринкой. Бабы жаркой бани не терпели. Каменку он, правда, не выхлестал ещё, поэтому, не удовлетворившись двумя исхлёстанными вениками, снял

свежий, из висевших тут же, в предбаннике, по стенам. Париться всё ж таки не схотел. Поддал полный ковш, обварил на опальном духу веник, забрался на полок, подложил побитые голики и свежую берёзу под голову, прилёг и закрыл глаза. Только сейчас, хватанув горяча и стгоряча, Пётр ощутил: от бани тело своё взяло. Решил: домокнет последним по́том — и на сегодня ладно будет. Жар, сразу хлынувший с каменьев, обвял, и показалась Петру баня истонным июльским березняком, парным и застойным от созревающих трав. И сразу подумалось: нарочно ему грешилось от подушек о чём-то другом, только бы не о главном.

После смерти бабушки Христины Пётр перебрался в дом Володьки и Валентины. Ни дня не схотел жить больше в дедовском доме, где вырос. Добро быстро растащили дети Христины, деньги с продажи разделили на всех. Валентина посчитала несправедливо так поступать с Петром. На внуке держалось хозяйство, бабушку не оставил, как родные дети сделали. Избу топить чем-то тоже надо. В лесхозе работает, дровами всем помогает. Оставили Петра голым. Володька помалкивал. А Петру действительно и гроша не хотелось иметь с добра дедовского. Сытый по горло жизнью там.

Валентина Колесень поругивала Петра за походы к Саре.

— Жениться тебе надо, Пётр Васильевич. Распашонок у тебя среди доярок — любая ноги будет мыть.

«Распашонками» Пётр звал ласково своих подруг из Зимника. За их любовь безответную, за готовность распахнуть для Петра душу, только бровью поведёт. Жила в Петре какая-то внутренняя красота, не объяснимая на словах. И доярки сходили с ума от молодого и неженатого мужика. Будто мёдом для них там намазано...

— Невеста ещё для меня не родилась, — угрюмился от намёков Пётр.

Работал он в лесу на заготовке вагонной стойки и получал большие деньги. Детей у Володьки полный дом, не таясь, отдавал деньги Валентине, часть зарплаты: обстирывает племянника, кормит. Нахлебником жить не согласен.

Маёвку в тот год отрядились справлять на Абанские озёра. Отсеялись, отжитничали. Семьёй на маёвку поехали. Пётр по такому случаю выехал с лесоделяны. Хоть и не колхозник уже, но день выходной для всех. Валя принарядилась, маковым цветом расцвела: в люди шла. Дома-то вечно в застиранном платье, калоши в навозе, руки в чёрных трещинах от печной сажи. Орава большая, за всеми приглядеть надо, все малые ещё, корми их только да корми. Не до праздников. А здесь не

узнать Валентину. Кто бы мог распознать в крепкой мужичке, когда она толклась на своей усадьбе по хозяйству, такую медлительно-мягкую в движениях грацию-красавицу? Подтянутая в талии, в ботиках, с кружевным платком на плечах.

Володька и ну ревновать к Петру. Будто сам он не видит. Знал, кого замуж брал. Нервничает, пьёт водку без меры. Озёрная гладь зеркалом умывается под зрелым днём. Солнце над головой. Жара. Устроились в холодок под тополем. Автолавки из Абана. Народу купающегося тьма. Дети из воды не выбирают. Парит, к дождю. И как будто бы не к добру. Валентина даже вкуса спиртного не знает, зато мужик за двоих управляет. Пётр тоже выпить не промах, но и он, поглядывая на расстроенную Валентину, не пьёт на этой маёвке, не его этот праздник. Такое с ним случалось: никакими посулами не заставишь выпить, если не захочет. Пётр и не хотел. Из-за Вали поехал, с детьми помочь надо. С Володьки-то какой прок, с пьяного?

Надумали купаться. Володька плавать не умел. Пьяный он неуправляемый был.

— Вы мне не указ! — отцепил он от себя Валентину.

А потом разбежался и нырнул на мелководье. И сообразить никто не успел, как он это сотворил. Всплыл он и остался лицом в воде. Всё понял Пётр: сломал Володька лён. Не жилец.

Вытащили из воды. На берегу и умер. Всё произошло так стремительно, что дети и не поняли, что нет больше у них отца.

Год из горя не могла выбраться Валентина. Хорошо, рядом Пётр. Лесхоз он бросил, вернулся скотником в совхоз. Работал на центральной усадьбе, в лес пасти молодняк отказался. Пять сирот на себя взял. Старший, Володя, в пятом классе будет учиться, Коля, младшенький, едва шести годов достиг. Дом будто беду ждал: печку надо перекаладывать, потолки в дожди текут, крышу необходимо новым толем закрывать. До холодов всё успел исправить Пётр. Зиму в тепле дети встретили, сытыми и обутыми; расчёт в лесхозе он получил крупный. Одежку детям справили. Так и зима минула.

На мартовские праздники Пётр привез Вале из Абана светлый шерстяной отрез на платье. О пьянках с мужиками и забыл думать. Детям подарков набрал: курточки весенние и модные, конфеты на стол высыпал горой, пряники в шоколаде. В деревенском магазине такого не продают. Валя расстаралась, стол накрыла, водки казённой выставила. Чего бы никогда не сделала при Володьке.

Дети, умытые и приодетые, грудно облепили стол. Валентина светится, горе, сколько его ни мыкай, всё равно не

перемыкаешь. Забываться стала маёвка Вале. Да и поняла она, что Бог её освободил от оков.

— Ну, значит, Валентина Тимофеевна, тебя и сестриц с праздником.

Не умел говорить сердечных слов Пётр. Только-то и сказал. Выпил стопку. Валентина берегла церковный кагор, пригубила лишь. Дети отпраздничали за столом и подались на улицу. Март. Весна! Пётр и Валентина так и остались сидеть за столом, залитые солнцем золотым — счастливым светом жизни.

— Ай да, ай да, ай да мёд, ох, и в голову, и в ноги бьёт,— закручинилась по-бабьи Валя.— Ай да, ай да мё-о-о-од...— виновато улыбнулась.— Скушно тебе со старухой. Молодых кругом...

Пётр не дал ей договорить:

— Валя, будь моей женой. Я ведь люблю тебя с того самого дня, как ты с Володькой к нам пришла. Старше ты меня? Не важно. Жить нам ещё да жить — до этой самой старости. Да и так ли уж это важно? Дети твои — братья мои. Не могу я их малых бросить.

— В уме ли ты, Пётр Василич? Та што ж люди-то скажут? Года ещё не прошло — под племянника легла.

— Какой я тебе племянник? Одно название. Володьки нет, и я теперь не племянник тебе. Детям я брат. Нельзя мне их бросать. Ты ещё молодая, не хоронить же тебе себя? Люди поговорят да забудут. Ты, Колесень, у детей совет спроси.

Почему он её так величал? В девках Валентине нравилось. Знал об этом, вспомнилось само по себе, вырвалось.

— Родный ты мне, Петя, как дитя моё. Как старший мой сын ты был, когда я к вам в семью пришла. Как же всего этого забыть? Как же мы жить станем, спать вместе? Перед детьми срам-то какой. Верю я тебе. Вижу, как ты мучаешься. Ведаю о твоих чувствах давно, не слепая. А что делать? Несвободная я в выборе. Пожалей ты меня, Пётр Васильевич.

Вале шёл сорок второй год, Петру и тридцати не исполнилось. Когда это было. И было ли вообще? Пётр разомлел на полке, не желалось в предбанник к морсу идти. А пить хотелось. Но и вспоминалось сладко, боязно — уйдёт из души.

Не скоро и не вдруг согласилась Валя Колесень на совет с детьми. В июле сенокос. Без коровы в деревне никто не живёт. Володе двенадцать, помощник Петру добрый. Валентина гребёт, ворошит, в копны Пётр укладывает. Однажды остались вдвоём. Володя умчался на велосипеде на речку. Сенокос завершался. Каких-нибудь пару дней — и можно вывозить сено

ко двору. Сеновалы вместительные, крышу Пётр драньём перекрыл, катухи для овец привёл в порядок, хлев. Заборы без дыр теперь стоят. Завидуют бабы в деревне Валиному счастью. А какое это — счастье, кто из них знает? Ведь нет ничего. Пётр для братьев старается. Хоть и вырос он в многодетной семье деда, всё равно никому там нужен не был. «Байстриук Дуськин». Бабушка жалела, она, Валя, всем сердцем мальчишку полюбила. Не знала тогда, что всё так обернётся. Теперь Валентина любила Петра, сама себе завидуя. Бегал он к своим «распашонкам». Знала, не ревновала, радовалась за Петра, что он любим другими. Его же любила для себя и в себе. Жизнь наладилась, лишь бы детям хорошо было.

— Жара, — вернулся к табору Пётр.

Перележать надо. Намерился под телегу в тенёк, к Валентине. Но не пришлось. Послышался грохот тележных колёс от просёлка вдоль бора. Дорога подправлялась и к сенокосу Петра. Выбралась из-под телеги и Валентина. Приложила ладонь козырьком, взгляделась в едущего в телеге человека.

— Пойду к роднику, холодной водицы тебе принесу.

Пётр прикрылся ладонью от солнца. Стал наблюдать за вихляющей телегой вдоль березняка. Симонович повернул коня к сенокосу Петра. Работал он лесником. Петра переманил в лесхоз он. Работу денежную давал, наряды составлял. Подъезжал всё к Петру: «Сынок...» Сам-то не богат на детей, одна девка. Пётр по-прежнему его не признавал даже за дальнего родственника. Грех матери Петра — Дуськин, а Петру жизнью теперь приходится расплачиваться за её и Симоновича долги перед Богом.

— Здорово, сынок, — проорал с телеги Симонович, натянув упруго вожжи, осаживая коня. — Всё на ублюдков робишь... Когда своих нянчить станешь? Заждался я внука от тебя, сыночка родного. И чем тебя Колесень опоила? Что ты в ней хорошего нашёл?..

Симонович жогнул коня вожжой, и телега опять загремела, удаляясь.

От родника в лощинке возвращалась Валя. Пётр залюбовался. При летних работах Валентина окрепла телом, стала как девка молоденькая, подвижная и сильная. Волос выгорел до соломенного золота. Распустит косу — утонуть можно в этом море золотых волос.

Валя подала ему керамическую крынку с родниковой водой. Брали в крынке на покос сметану. Обедали давно. Уже и

солнце за берёзами светит в просветы. Руки сами потянулись обнять «котёнка». Так её он теперь звал иногда.

— Ох, Петруша... Родный ты мой...

Вечеряли, все дети за столом сидели, чего редко получается летом. С речки при луне приходится гнать домой старшего, Володю, малой — Коля (Филиппок) — от него не отстаёт.

— Володя, сынок. И вы, дети, послушайте, что я вам скажу. Пётр Васильевич, брат ваш дорогой, просит меня стать его женой. Как вы порешите, так и поступлю, — попросила от детей справедливости Валентина.

Детям Пётр благодарен. Роднее их и Маринки теперь у него никого нет. Валя — жена, редкая русская женщина. Неисчерпаемая от добра душа, любовь в ней безгранична к нему и детям. Хорошо всё-таки жить на земле. Ой как хорошо. С лёгкостью в душе Пётр и пришёл в избу после бани.

— Колесень, где там у тебя сто грамм?

— Хозяйин мой, — загордилась мужем Валентина. — Неужто один пить станешь? И я стопочку кагора с тобой. Только после бани, — поправилась.

— Хорошо, котёнок. Подожду. Пока полежу, дам телу отдых, — направился он в горницу.

Валентина знала и этот порядок: свежее бельё перестелено. Двухмерная подушка, без морщинки наволочкой, белизной тянет прикорнуть. Супружеская кровать не заправлена покрывалом, ждёт хозяина после бани. Пётр упал на спину и расслабился.

А ведь действительно хорошо жить. Только вот мало этой жизни у человека счастливого, это несчастные долго копят небо.

И Пётр задремал, ожидая жену из бани. Не лежалось. Поднялся, на кухне из чугунка наполнил полную чашку щами. Самогонка в низу стола под шторкой. Налил в гранёный стакан до ободка. Хлеб в прихожей на столе под рушником. Отнёс всё к хлебу. Сел к столу у окна. Поднял стакан, выпил, крупно глотая. Крякнул. Первач добрый Зеленок Володя гонит. Брат Валентины. За хлебом приезжал, был, пока Пётр мылся. Привёз к празднику.

Хлебнул щей. Хмыкнул удовлетворённо. Всё удаётся Вале Колесень. И хлебы, и сдобы. Даже вот щи. И ничего в них мудрёного нет, кроме воды, капусты и мяса. А вот напарились в чугунке в русской печи — и вкусные. Не любил Пётр дела справлять поспешно. Не торопился и за едой. Appetit зверский самогонка разбудила. Наполнил чашку опять щами. Умял чуть ли не каравай хлеба. Можно теперь и делом заняться.



Бабы долго будут мыться. Вычистит хлев, сена задаст, лампу паяльную из кладовки достанет, проверит. Всё подготовит для забивки кабана завтра. Настроение хоть куда после щей-то, хмыкнул опять. Ну, гости дорогие, сыны милые, отец вас ждёт, любит, приезжайте, давно вместе не собирались. А ведь до гоже этой столешницы все когда-то были. Пожить бы теперь им с Валентиной. Маринка — радость рядом. С тем светлым чувством Пётр и пошёл до хозяйства.

#### 4. СЫНОВЬЯ

Улёженное сено на вилы бралось туго, и от дурной силы Пётр сломал черен. Плюнул в сердцах. Успел и топтунец подбрать, навоз вытягать, и у свиней вычистить, зелёнки с огорода наносил овцам. Сломал. Свинья и боров ревели в стайке над корытом, рывкали зверьем. «Порявкой, порявкой,— подумал про борова,— завтра приедут сыны... Доколе мучаться с вами Вале?..» — по-хозяйски рассудил о свиньях. Притворил дверь сеновала, прошёл через двор к крытому летнику, вытянул из-под крыши новые вилы, на их место вставил старые, со сломанным череном. Подумал: не последние и с починкой погодят. Вернулся к сеновалу. Забрался под крышу, наснимал оттуда пластами слежавшегося сена. Часть отдал корове с тёлкой, часть же уклал копёшкой в свободном углу сеновала, на случай, если Вале придётся к скоту идти. Размотанное сено за стеной накатника топорщилось в щели, и тёлка, оставив без внимания задачу, стала мусолить торчащие былки.

— Вот дура и есть дура. Тебе же дали, ешь — не хочу. Нет, былъ те вкуснее,— оценил Пётр тёлку.

С продажи тёлки на мясо он решил в тот час справить Валентине новое пальто. Рассчитывал: поохотится, сдаст пушнину. Теперь уж какая охота? Похоже, свадьбу затевать надо...

Вернулся к летнику, достал всё ж сломанные вилы. Сбил окороток, насадил вилы на добрый черен, про запас заготовленный. Только после этого вспомнил о паяльной лампе, верёвках. Решил на завтра эту затею оставить. Пошёл за ограду, будто гости там подъехали и встречать их надо. Такое чувство.

От ворот мост над речкой кажется рядом — за полотном дороги. Сеня Печенок, видать, бродил по Егоровке и теперь возвращался в Зимник. Дошёл он до моста еле живой. Вернее, не шёл, а брёл, двигаясь рывками. От края тракта и до края его

Семёна иногда так вводило, что, казалось, ещё миг — и он улетит кубарем в ров под дорогу. За плечами у Сени свисала до задницы котомка в виде солдатского вещмешка, Валя Колесень ему из холщового мешка сделала для вещей, куда поместились и катанки для матери Печенка, и хлеб с ломтем сала, в холстине обёрнутые; телогрейку и шапку Семёна надел у них. Опосля Семён добирал похмелье в Егоровке у людей. «Напоили неразумного», — с сожалением подумалось Петру. Телогрейка с плеча Петра длиннополо висла на Семёне ниже коленей и была распахнута, шапка закатана, и уши чёрными вороньими крылами порскали вязками по лицу. И казалось Петру, именно эти уши шапки и поддерживают Семёна, будто парящего в коленцах и зигзагах на кривеньких ногах — в его, Петровых, резиновых сапогах, скользких по такому сырому времени. Пётр застыл у ворот со щипающим чувством в уголках глаз. Как такую беду видеть? Время прошлое и настоящее, нищета и неоправданная безумная роскошь как-то до дикости мирно соседствовали и уживались непонятно в каком времени и непонятно в какой стране. Пётр не знал высоких слов, не думал о стране в целом как о родине, но он любил эту тайгу и всё, что с ней связано, до замирания души, до истомы и скупых мужских слёз. Слёз Петра никто и никогда не видел, слёзы эти были внутри его, в сердце. А так пощиплет глаза — и уходит боль... С чувством горечи Пётр зашёл в избу. Сынов он всё-таки ждал почему-то сегодня. Поставил тарелку капусты на стол, наполнил самогону опять гранёный стакан по ободок. На кухне же и выпил, махом вылив в широко разинутый рот, высоко задрав бритый теперь уже подбородок с ямочкой. Оставил пустой стакан на кухонном столе, капусту же прихватил в прихожую к хлебу, накрытому светлым рушником, где недавно он хлебал щи.

Стол поставлен торцом к подоконнику, можно привалиться спиной к перегородке с горницей, отдыхая за чаем, поглядывать на дорогу за окном.

Напротив дома на тракте остановился оранжевый рейсовый автобус из Абана в Апано-Ключи. Помедлил, уехал. Через дорогу к воротам рысью торопились Володя с Таней, Васька с дочерью Симоновича. Сестра? Невестка будущая Петру? Пётр Васильевич отслонился от окна и стал поджидать гостей в дом. «И ведь не к матке с батькой — Зимник рядом, а сразу к нам. Сейчас там Симоновичу доложат те, кто в Зимнике сойдут. На коне в телеге прикатит с бабой. И начнётся тут такое...» Додумать Пётр не успел.

— Здорово, батя,— первым ступил в дверь Володя.

За ним его Таня. Васька пропустил невесту вперёд. Столпились у порога, высвобождая ноги от обуви.

— Дорово-дорово,— поднялся и Пётр навстречу.

Ступил до них шаг, каждому сыну пожал руку, приобнял невестку Таню, приветливо поклонился Васиной невесте.

— Валя. Валентина,— тихо ответила она на поклон Петра.

— Хорошо, будут теперь две Вали.

Пригласил жестом пройти в горницу.

— В бане все, полощатся,— понял Пётр взгляд невестки Тани.— Скачи к ним.

Старший сын детьми ещё не обзавёлся. Но тяжеловесная поступь невестки Тани уже намечалась. Сын зовёт Таню «Настей». Нравится и Петру имя «Анастасия». И Пётр иногда в шутку стал привыкать звать её «Настёной». Васька — второй сын после Володи у Вали. Рядом с кряжистым Володей он шибко разнится кручёной прогонистостью, лицом — вылитый дед Василий. И говорит так же, как он, помахивая в такт словам едва заметно головой, вроде как соглашаясь со сказанным. А девка у Симоновича ладная. И чем-то напоминает молодую Валу Колесень. Сыны всегда ищут схожести с матерями в будущих своих жёнах. Природа такая.

— Рассказывайте, как добрались. Усаживайтесь к столу,— Пётр любил говорить с детьми напевно, с расстановкой.— Та-ак, Василий Владимирович, знакомь ближе нас с твоей Валентиной.

Нередко Пётр звал детей и по имени-отчеству, чтобы подчеркнуть своё уважение.

— Часто жалею, что не могу вас собрать вместе. У нас ведь как,— обратился Пётр к Валентине.— Вместе русская родня бывает только на свадьбах да похоронах. А так — живут, и недосуг о родне думать. Коля вот в армии, Надежда теперь в Абане, Любонька наша в Красноярске, на учителку учится. А так бы все вместе и порешили, как дела править.

— А чего решать? Всё решено Васькой и без нас, Пётр Васильевич,— загорланил непутёво Володька.

Таня его ушла в баню к бабам. «Настя» рядом нет, он и сорвался с цепи.

— Всё решено, батя! И сейчас запьём это дело — закрепим смотрины. Женится наш Васька! На ноябрьские праздники и свадьба: Валя на каникулах, Люба приедет с учёбы. Самое время, батя. Тебя ждали с гуртов. Мы же — Шеляги! Решил —

выполнил. Рак назад не пятится, так и Шелях. У мамки есть самогонка? Настя водку с собой унесла, чтобы мы без мамки не пили, — хватился Володька объёмистой сумки, которую нёс из автобуса в дом.

Шалопутный, в отца родного, Володька быстро нашёл на кухне банку с первачом. Васька помог ему сала напластать, из чугушка со щами выловил куски варёной говядины, поставил миску куриных яиц горкой, которые тоже нашёл под занавеской в кухонном столе. Петра сильно задело — не дожидаться Валентины Тимофеевны. Колесень недовольная будет таким заходом гостей. Но промолчал. Последние годы он сынам не перечил: их это дом, родовое гнездилище, пусть и поступают как умеют. Будет того, что вырастил.

— Завтра кабана заколем, — веселился шалопутно Володька. — Свеженинки нажарим. А сегодня и такой закуски довольно. Люблю мамкин хлеб, — наполнив стаканы, потянулся он за долькой ржаного хлеба.

Поднёс хлеб к лицу, вдохнул, закрыл глаза.

— За вас, батя с мамой, — вознёс он стакан к центру стола. — За родителей наших, Валя. Таких людей на земле больше нет. За их здоровье.

За братом к отцову стакану потянулся через стол и Васька. К Валентине Пётр приподнялся сам. Выпили. Валя пригубила и отставила. Она деревенская, самогонкой не удивишь. Студентка, бывает, в городе, с вином отмечают. Но Васька перед батькой порисоваться решил.

— Пей, кому сказано: за родителей!

Валя спорить не стала, махом выпила из гранёной стопочки на ножке налитый в неё первач. Остервенело метнула взглядом грома на своего возлюбленного, замкнулась в себе за такое унижение. Петру тоже стало не по себе от поведения сына.

— Ты, Василь Владимирович, брось. Не жена она ещё тебе, рано запрягаешь и понукаешь. А ты, сестрица, не обращай внимания. Шеляги все беспутные.

«Сестрица» — вырвалось само собой. Но сыновья поняли буквально. Васька покраснел лицом, за столом создалось неловкое молчание.

— Я тоже, Пётр Васильевич, пойду к женщинам, — вышагнула через лавку из-за стола Валя.

— Иди-иди, ты их знаешь. Мать тебя не обидит, — хмуро зыркнул на Ваську Пётр.

— Наливай по второй, брат, — потребовал теперь уже Володя от Васьки. — А говорил: «Захочу, на саночках привезёт...» Шиш ты её породу сломаешь. Вон у меня Настя — золото. Шикну — и место знает...

Баня просторная и удобная. Женщины мылись без спешки. Скотина напоена, успеют повечерять, дневные заботы вроде на сегодня избыли. Колесень с любовью рассматривала невестку Таню, которая вроде как стеснялась своей беременностью, чуть обвислого тяжёлого живота. Была она на восьмом месяце. Володька работал в Канске, в райпотребсоюзе. Таню присмотрел в Нижнем Ингаше. Не местная она, как Валя, девка Симоновича. С невесткой проще и язык найти. Родители далеко, не на кого кивать. С Васиной Валею будет непросто... В бане тепло и не душно. Тане жар вреден, поэтому дверь в предбанник держали приоткрытой. Во дворе хлопнула дверь веранды, послышались голоса сыновей и Петра.

— Дай, батя, я...

Валя Колесень высунулась в предбанник и присмотрелась в щель на двор. Девка Симоновича сторонилась от крыльца, пропуская Ваську и Володьку с ружьями, за ними пересёк двор к летнему свинарнику Пётр. Завизжали свиньи, раздались один за другим выстрелы. Рёв поросячий поднялся до небес. Опять раздались два выстрела почти одновременно. Валя Колесень обмерла: неужто и свинью порешили? И это на ночь глядя?! Правда, фонарь над двором есть, в бане, в котле, горячей воды хватит для обмывки туши, когда осмолят. На выстрелы и утихающий рёв подвинка высунулись в предбанник и Таня с Маринкой, Матрёна осталась клуней на лавке и жевала беззубо губами, тускло смотрела на дочь.

— Ах, мама, мама, — ответила ей на взгляд Валентина. — Натворили наши мужики дел. Ох, натворили...

— Готовы! — орал беспутно Володька.

Рёв свиней стих, но возбуждённо копытили половые плахи хлева корова с тёлкой, бились о деревянные жерди перекадин загона, отчего раздавалось тупое туканье и треск жердей от натиска.

Дробью копытили загон овцы, гоготали гуси, запертые в летней клуне у куриц.

В просвет щели показались все трое. И Валя Колесень чуть не заголосила: все трое были в умат пьяны. Валит самогон первач с ног коварно. Как же свежевать теперь будут? Валентина привычная не осуждать действия Петра. И сейчас она,

спешно одеваясь, голоса не подавала на дворовую возню. Думала о нагрянувшей беде и заботе, решила уже, что без помощи брата Володи Зеленка её мужикам с разделкой двух свиней не справиться. А на дворе темнеет, Маринку в Зимник не пошлешь, Таня — гостя. Придётся бежать за километр самой. Молчавшая Таня молвила, как выдохнула:

— Я ему, гаду, все волосы выдеру. И драть буду по волосинке, чтобы больнее, чтобы прочувствовал...

— Поздно ему драть космы, — понятно отозвалась Валя Колесень. — Мне их надо было драть, когда за Володьку, его отца, замуж шла. Ты не ругайся с ним с пьяным. Дурной, как батька. А ты в положении. Не дай Бог... Леший с ними, свиньями. Мясо не пропадёт. Холода уже. Вырастим ещё...

Тем временем, бросив перебитых свиней, «охотники» ушли в дом.

Когда бабы пришли из бани, мужики говорили уже криком. Самогон стаканами посшибал их с ног. От трёхлитровой банки с первачом и капли не оставили. Девка Симоновича сидела при Ваське и покорно внимала всему происходящему. Пётр Васильевич был натурально готов. Таким его Валя Колесень не видывала уже сто лет. Упоить силача Петра Шеляга — бочки мало.

Валя Колесень и виду не подала, что недовольная таким заходом гостей. Хоть и дети её любимые — всё же гости. Каждый своим двором теперь живут. Вася электриком в Абане работает. Вид сынов и мужа на миг заслонила заботу о свиньях.

— Хорошие вы мои. Сыночки вы мои. И чего же вы так срамно ругаетесь за столом? Богородица вас слышит, — указала на икону в красном углу. — Бабушка с вами, Таня — женщина молодая, Валя теперь с нами. А вы ведёте себя будто одни, — стала она увещевать расхоронившихся сынов и Петра. — И что же вы наделали? Свиней перебили и сидят, будто так и надо! Кто ж так из хозяев поступает? Когда ж вы успели напиться? И ты, Пётр Васильевич, как тебе не хорошо так поступать?

Маринка забралась Петру на колени, обняла отца за шею, вжалась в отца.

— Мамка, не ругай папку. Папочка мой любимый.

— Да не ругаю я твоего папку. Твой папка, твой, только не реви ты, — повысила голос Тимофеевна. — Ну что ж вот хорошего: напились, свиней перебили, будто до утра подождать не могли? Да и зачем усех-то? Петра напоили. И ты тоже. Чо с тобой случилось?

— Папка, зачем ты напивси-и? — захныкала Маринка. — Я так тебе ждала.

— Ничего, доча. Твой папка тверёзый. А ну, Василий Владимирович, уважь отца, налей. Тимофеевна, ставь казённую. Пить так пить... Кто сказал, что на войне водки не дают вдвойне? На войне как на войне — дают водочки вдвойне, — захрипел громко, неумело Пётр. — А мы с тобой, котик мой, как в той песне — у одной реки.

— Нету, Пётр Васильевич. Отколь ей быть? — говорила она о водке из магазина. Отвечала на просьбу Петра и впервые за всё их совместное житьё глала. — Нету. Ей-богу, нету. Хватит пить. Делом пора заниматься. Я пошла в Зимник за братом.

Таня при Петре постыдилась ругать Володьку, причёсывала в горнице Маринку и плакала. Там же находилась и Васина невеста.

— Нет так нет, — поднялся Пётр над столом во весь свой огромный рост. — Кто сказал, что на войне... Нет... Всё, спать, Пётр Васильевич, — приказал себе.

Отслонил широкой ладонью стол для свободного прохода от окна, где сидел, вышагнул на середину прихожей. Постоял. Подумал. Добавил:

— На войне как на войне.

Вяло махнул рукой. И рухнул с поворотом спиной на пол рядом с печкой. Вытянулся на животе во весь рост, раскинул локти, укладываясь щекой на руки. Заснул мгновенно, как умер, затих бездыханно.

— Теперь его не поднять, пока не выпится, — Васька был трезвей брата Володи. — Иди, мама, за Зеленком в Зимник. Мы здесь пока свиней на двор вытягнем с Володькой, всё подготовим.

Валентина закуталась в шаль, в телогрейку одетая, в резиновых сапогах, подалась в Зимник за братом Володей Зеленком.

Изба обезлюдела. Даже Матрёна не схотела лежать после бани, подалась на двор вместе с остальными. Оставили Петра в покое. Спит. Пусть спит.

Васька нашёл в кладовке паяльную лампу и возился с ней. Володя спустил кровь застреленным свиньям в тазы, принесённые бабами, и всё рушил, пьяный, в кладовке в поисках верёвки для вытяжки туш из свинарника во двор, где безопаснее с огнём и просторнее смолить на кабанах щетину.

Тем временем молодые женщины дополнили водой котёл в бане и растопили печь. Там же и горевали о случившемся.

Таня ругала Володьку на чём свет стоит. Валя Симонович благодарно помалкивала, не желая перед Матрёной злой показаться. Маринка покрутилась возле бабки и поскакала в дом.

— Папка мой любимый. Напивси, и никто тебе не жалеет. Я так тебе ждала,— присела пятилетняя девочка у изголовья отца.— На руках вить жёстко спать. Щас я тебе подушку положу,— пошла Маринка в горницу и волоком за углы притащила большую Петрову подушку.

Пётр любил спать высоко головой. Потому и подушка объёмом в две обычные. Пётр Васильевич и допрежь любил повалять косточки на жёстком полу, полусидя-полулёжа. Погреть спину от горячих кирпичей печи. И дочке невысоко ползать по батьке, на его носок ноги забираться. Марочке нравилось трёхгодовалой качаться на ноге отца, держась за его пальцы рук тянущимися к нему ручонками.

Подбить подушку под тяжёлую голову не удалось пятилетнему ребёнку. Спал Пётр головой к перегородке в горницу, вытянувшись ногами до кухонной двери. Маринка навалила подушку отцу на голову. Решила, спине теплее будет. Присела, щекой от пола стала рассматривать лицо спящего отца. Дышал он ровно, раскинув локти — переносицей и лбом на руках. Подушка на спине его нисколько не тревожила. На дворе выл, подгавкивая, Байкал.

На выезде из Зимника Валя Колесень с братом на «Жигулях» обогнали телегу лесника. Симонович катил в Егоровку с женой. Будущие сваты разъехались без взаимных поклонов.

Ещё от ворот Валентина Тимофеевна увидела, что дела идут, хоть и не споро и неумело. Петра не видно. Вышли из тёплой бани Таня и Валя Симонович, Матрёна. Маринка выскочила на крыльцо веранды.

— А папка спит,— сообщила она весело.

— Слава те Господи, утомился,— вздохнула облегчённо Валя.— Пусть отдыхает. И так весь день не свой,— пояснила она брату.— Справимся и без него. Не станем тревожить.

Подкатил Симонович, послышалось недовольное фырканье остановленного уздой коня, скрипнула, облегчившись от грузных седоков, грядка телеги. Калитка в улицу распахнута, Володя Зеленок выбирал из багажника пару паяльных ламп, заправленных бензином у себя на дворе.

Симонович, следом жена зашли во двор.

— Здорово, сватья. Никак уже к свадьбе готовитесь? — увидел он дочь.



— А што нам? Чем наш Васька не жаних, чем он забракoванный?..

— Руки-ноги в кандалах, весь в цепях закованный,— ехидно продолжила Сима, мать Вали Симонович.— Да он у вас больной, с одной почкой. Долго не проживёт. Сирот плодить? Не дам!

Крик поднялся, ругань между бабами — туши свет. А свет в небесах пригас уже и без этого крика, и спешить с разделкой свиней следовало.

— Цыть, вы... Хозяин-то ваш где? Сынок-то мой, Пётр Васильевич...

— Спит твой сынок, пьяный,— огрызнулась бабка Матрёна, стоявшая тут же.

— Ежели вы с добром к нам, люди добрые,— опаматовалась Валентина Тимофеевна: при сватовстве позорятся,— то и мы тоже — добрые люди, добром встретим. И неча в наши прожитые годы детей впутывать. Было и прошло, быльём поросло.

— Мы думали, она на учёбе учится, а она с Васькой вашим крутится,— не унималась Сима.

— Та цыть те, сказал,— замахнулся кнутом на жену лесник.— Скандалом дело не сробишь. О расходах подумай, дочка одна. Без помощи молодых не оставим. Сынок мой выпится, завтра потолкуем.

Прошло не менее часа споров и раздоров, прежде чем Валя Колесень решила посмотреть Петра. Рядом с двором добрая времянка с печью, Матрёниной кроватью,— кухня и летняя, и зимняя. Толкуются всегда там без Петра Васильевича. В избе Валентина только хлеб печёт. Отдельная рубленая клуня без окон, дверью — к двери времянки. Крытый переход между клуней и времянкой. Там и сепаратор, и бочонки с огурцами и грибами. Клуня холодная, без печи. В ней и в жаркое лето прохладно. Теперь ноябрь. Мясо в клуне складываться будет. Рассудив таким образом, уже без опаски оставила сынов и брата у свиней. Гудят две лампы, щетину кабанам смолят.

Валентина ступила через порог в избу, увидела под лицом Петра его любимую «думку» и обмерла. Рухнула от порога на его босые ноги: остыл человек, задохнулся в глубоком сне Пётр.

— Ма-а-ама-а-а, та што ж вы наделали?.. Не уберегли...— задохнулась Валентина Тимофеевна Колесень глухими рыданиями. Сердце отбилось, отлюбило.

Истинно: «Праведник гибнет в праведности своей; нечестивый живёт долго в нечестии своём...»